

Ефим Златкин

Я родом из гетто

Отрывки из книги

Чёрная пелёнка

В июле сорок первого из Минского гетто¹ еще можно было убежать — проволочное ограждение и полицейское оцепление было не везде. На специально отведенную под гетто территорию — *жидовский жилой район* — сгоняли тысячи евреев и заселяли в выделенные для них дома, а их освободившиеся квартиры захватывали и обживали другие жители Минска и окрестностей.

Семью Зеликман — родители, три дочери и три внука, — раньше проживавших на Танковой улице, переселили в гетто. До полноты комплекта добавили еще шестерых человек. Отец семейства Матвей Шлёмович, 55-летний инженер, быстро сориентировался в обстановке.

— Зачем нас собирают? Чтобы легче было уничтожить. Это ж ясно, как белый день. Бежать надо!

— Если расстреляют, — рассуждала, разводя руками, его жена Дора Евсеевна, — так хоть вместе.

— Нет! Надо бежать. Так хоть кто-нибудь да спасется, — настаивал на своем Матвей Шлёмович.

Гетто покидали ночью и поодиночке, чтоб не привлекать внимания. Решили уйти подальше от Минска и спрятаться в какой-нибудь глухой деревушке или двинуться на восток.

Из Минска удалось выйти только одной Ханке, младшей дочке. Остальные пропали — неизвестно где и как.

Ефим Златкин — журналист, писатель. Родился в 1947 году в Белоруссии, в городе Мстиславль Могилёвской области. Окончил факультет журналистики Белорусского университета. Работал в районных и областных газетах. Автор трилогии документальной прозы о жизни еврейского местечка в Белоруссии: «От Михалина до Иерусалима» (2015), «Молитва по Михалину» (2017) и «Неизвестность по имени Жизнь» (2018). С 1989 года живет в г.Ашдод (Израиль).

¹ *Минское гетто* — одно из крупнейших в Европе (второе после Львовского гетто), образованное нацистами во время Второй мировой войны, куда принудительно сгоняли местных евреев — более 100 тысяч человек — для дальнейшего переселения и ликвидации. Просуществовало с июля 1941 по октябрь 1943 года.

Точнее, Ханка бежала не одна: она прижимала к груди сверточек в черной пеленке — новорожденную Рахельку. За всю дорогу девочка не пикнула. Наверное, не проголодалась еще. Хотя грудь у Ханки распирало от прибывающего молока. Тонкая кофточка промокла насквозь. Зайдя поглубже в лес, Ханка присела на поваленное дерево и стала кормить малышку.

Что же дальше? Куда идти?

Впереди простиралось большое жухлое поле, за ним узенькой полоской виднелись невзрачные сельские хаты. Кажется, рукой подать, но идти по скошенному полю неблизко.

Солнце стояло в зените, от жары пересохла губы — и ни глотка воды. Придется ждать до вечера. Если выйти сейчас, Ханка будет очень заметной среди этого голого поля. И только в сумерки, когда тени сгустились и стали видны лишь смутные очертания, Ханка продолжила путь. Дошла до большого дома с крепким забором. Захотелось нырнуть во двор, спрятаться там и забыть обо всем на свете хоть ненадолго. Постучала в дверь.

— Водички, люди добрые, хоть глоточек!

Босая, с запекшимися губами и растрепанными черными волосами, Ханка была похожа на приведение. Рахельку, завернутую в черную пеленку, перекинула за спину, будто дорожную котомку. Девочка спала. И никто не заметил, что Ханка не одна.

— Беженка я! Помогите ради Бога, — обратилась Ханка к вышедшему на стук хозяину в кирзовых сапогах. Он кивнул. Девочка-подросток вынесла стакан молока и миску бульбы, позвала Ханку в дом. Хозяин не проронил ни слова. Только сверлил ее острым прищуром светлых глаз. Чем отблагодарить добрых людей, Ханка не знала. Она сняла свои золотые сережки и протянула девочке.

Среди ночи Ханка — ей постелили в сенях — проснулась от женского стоны и громких разговоров.

— Мама рождает, — поделилась девочка, — отец побежал за повитухой. Поможете?

Ханка работала акушеркой, потом поступила в медицинский, хотела стать врачом. Давно она не принимала родов, но сейчас медлить нельзя.

В горнице на стуле увидела аккуратно развешенную полицейскую форму и ужаснулась, осознав всю опасность положения: хозяин — полицей, и обязательно сообщит о ней немцам. Одна надежда, что сначала он побежит к повитухе. Значит, до его прихода она должна помочь роженице. И в этом, может, ее спасение.

— Барух ата адонай, — помолилась Ханка.

Когда в ее руках закричал мокрый, сморщенный, красный младенец, роженица, утирая слезы и пот на лице, шепнула:

— Клади своего ребеночка рядом с моим. Быстро! Только поменяй свою черную пеленку на мою белую. Поняла?

Когда в горницу вбежал взволнованный хозяин, то увидел рядом с улыбающейся женой два свертка — слева и справа — в одинаковых белых пеленках.

— Двойня у тебя, Кузьмич, — прошамкала радостно свекровь, — если б не постоялица наша, не знаю, чем бы дело кончилось... Видно, Бог ее нам послал. Радуйся!

Не дожидаясь рассвета, Ханка ушла. Больше ее никто не видел. Но кареглазая девочка, которую назвали Ганкой, до трех лет не выпускала из своего кулачка лоскуток от черной пеленки.

Хлебный мякиш

Роза лежала, зарывшись в кучу тряпья. Серый рассвет едва просачивался через щелястую крышу. Железная бочка, в которой сжигали всякий мусор и хлам, уже остыла. И от пола сильно потянуло холодом, ведь — зима, снег.

— Мама, мама! — подошла она к другой куче тряпья.

— Оставь, дай мне умереть, доча.

— А как же я и Арончик? Вставай, мама! — разгребала она тряпье.

Арончик взглянул на Розу и тихо-тихо захныкал. Он уже два дня не ел.

Розе девять лет, и полтора года она живет в Минском гетто. Кто она? Ребенок, девочка? Скорее, маленькая шустрая старушонка. Она сняла с себя все лишнее, оставила просторную куртку и сунула за пазуху ржавый котелок.

Выйти из гетто не просто, но можно: надо уловить момент смены караула или когда полицейские на что-нибудь отвлекутся или заболтаются. Как колобок покатила, побежала маленькая Роза в сторону вокзала. Глаза подмечали все. Новый состав: значит, новые солдаты. Дымит полевая кухня. Немцы горланят песни, играют на губных гармошках. Едут, веселые, на фронт.

— Пиф-пах, — наставляют они на Розу новенькие автоматы и бросают влед открытые консервы, какие-то кульки с едой.

Старым платком Роза замотала лицо, чтоб не разглядели и не узнали в ней еврейку. Улучив минутку, робко подошла к повару, когда он был один.

— Гиб мир супе (дай мне суп), — жалобно попросила.

Офицер — не из карателей, из общевоисковых — сперва взглянул на девочку, потом махнул рукой: мол, давай котелок. Наливая куриный суп, что-то сказал по-немецки. Обжигаясь, Роза вмиг проглотила бульон, потом съела кусочки картошки и курицы. Остатки подобрала рукой и вылизала котелок дочиста.

— А мама? А Арончик? — вспомнила она и опять подбежала к повару. — Гиб мир супе, гиб мир супе! Не отказал же в первый раз?! — Не отказал и во второй.

Роза завернула горячий котелок в какую-то тряпицу и засунула за пазуху.

— Домой! В гетто!

Опять бежала, опять стрелой проскочила под проволокой

— Сейчас, сейчас, — торопила себя Роза, влетая в дом номер 10 по улице Обувной.

На полу, скрючившись от холода и голода, лежала мама, на руках у нее — Арончик. Почему он с закрытыми глазами? И с таким страшно белым лицом?

— Мама, я принесла для вас суп, — подошла она с котелком.

В уголке рта у Арончика прилип маленький кусочек хлебного мякиша.

— Иди ко мне, детка, иди, — баба Бася обняла Розу за голову.

— Когда ворвались полицейские, мы спрятались в убежище. Арончик заплакал. И откуда только силы взялись? Так громко! Никак не могли успокоить. Тогда и залепили ему ротик хлебным мякишем. Иначе бы нас всех нашли и всех перестреляли.

Ржавый котелок со стуком выпал из-под куртки и покатился по полу. Наваристый бульон растекался по половицам, в комнате стоял до одури вкусный домашний запах. Но мама даже не пошевелилась. И лицо ее было таким же белым, как у Арончика.

Несколько дней в комнате лежали две неподвижные кучи тряпья: большая и маленькая. Вскоре прибавилась третья — там лежала Роза. Ржавый котелок валялся рядом.

И вскоре другая девочка из гетто, подобрав Розин котелок, побежала с ним за немецким супом.

Сон кончился

— Как зовут твою маму?

— Розалия!

— Нет! Твою маму зовут Степанида.

— Как зовут твоего отца?

— Арон!

— Нет! Твоего отца зовут Василь.

— Как тебя зовут?

— Давид!

— Нет! Тебя зовут Виктор.

— Как твоя фамилия?

— Таубкин.

— Нет! Ты — Савицкий. Запомни! Навсегда запомни, ты не еврей. Ты — русский! Русский, русский, — буравили колючие черные глаза, но в их глубине Давид чувствовал — тепло.

— Ты ничем не должен выдать себя, что еврей. Иначе расстреляют и тебя, и меня, — объясняли в детской больнице, где его спрятали под видом больного.

Как запомнить новое имя и фамилию?

Давид огляделся. На кроватях лежали и спали больные дети. Подошел к окну, стараясь что-то рассмотреть. Темно, ничего не видно.

— В кровать! Не броди по палате, — проворчала дежурная сестра.

Он зарылся головой в подушку, еле сдерживая рыдания. Было страшно и непонятно. В палате темно, из коридора тянулась узкая полоска тусклого света. Здесь шла обычная жизнь. Как раньше? До войны? Мирно тикали ходики. И не было немцев. Не надо было оглядываться по сторонам, бежать, вслушиваться.

Еще три дня тому назад такая же тихая мартовская ночь была в гетто, а утром всех оглушили пулеметные и автоматные очереди. Кто успел, спрятался в убежище на кухне, под полом. Когда стихли крики и стало очень холодно, они вышли из убежища. Дом полон крови, трупы в комнате и на улице. Вечером мама сказала: убегай, Давидка, беги, может, и спасешься — такой маленький мальчик не вызовет больших подозрений.

В гетто Давид прожил несколько жизней. И каждый день — голод, холод и смерть. Во время карательных акций, будто в прятки играл с полицейскими. Или они быстрее заскочат в дом, или он успеет спрятаться в своей «малине» — так в гетто называли убежища...

Он и сейчас будто не в больнице — он в гетто. И выжидает. Как только на вышке прожектор повернется в обратную сторону, а вместе с ним — часовой, его сестра Лида поднимет колючую проволоку, и он бросится под нее и быстро поползет, царапая руки и ноги, потом быстро-быстро побежит. Вот сейчас, вот...

— Савицкий, просыпайся! — поднимают его.

Сон кончился.

Давида больше нет.

Фотография

Худошавый, длинноносый Шмуэль жил в гетто одиночкой. О себе ничего никому не рассказывал, да особенно никто в душу и не лез. Подселили его к многодетной семье, дали место в уголке. Что еще нужно на первое время? А потом что будет, то будет...

Каждое утро Шмуэль с рабочей колонной выходил за пределы гетто. Когда возвращался, трехлетняя малышка Лейзеле, протянув тощие бледные ручки, бежала к нему навстречу. Шмуэль разворачивал свой паек, вынимал две половинки рыжего хлеба и делил между Лейзеле и другими детьми.

В гетто — кто спит, кто не спит, но глаза Шмуэля открыты даже во сне.

Раньше он жил — как все: не хуже и не лучше других. Жена Симочка — красивая, ловкая, да три взрослые дочери с длинными черными косами. Когда началась война, дочери отрезали косы и ушли вместе с отступающими войсками.

Однажды придя с работы, еще до немцев, Шмуэль нашел свою квартиру разгромленной, а Симочку — зверски убитой. Это *свои* хозяйничали, мародерствовали. В руке Симочка зажала семейное фото: самое ценное, что у нее было. С фотографией Шмуэль не расставался. С ней и в гетто пришел. И чтобы не помялась и не потерялась, хранил ее между двумя кусочками хлеба. Вчерашний хлеб Шмуэль отдавал детям, а между двумя половинками свежего бережно укладывал фото.

Жизнь — сущий ад: расстрелы, издевательства, голод и холод. И это еще не всё. С полуживых людей немцам вздумалось потребовать контрибуцию: пятьдесят килограммов золота. Ни ремесленники, ни работяги, ни городская интеллигенция столько золота и в глаза не видели.

Когда в их комнату ворвались полицейские, Шмуэль сунул руку в карман, чтоб подальше спрятать дорогой для него сверточек.

— Золотишко припрятал, тварь поганая, — и автоматная очередь прошла Шмуэля.

Когда вывернули его карманы, выпал сверточек с двумя кусочками хлеба, а между ними — фото, обычный черно-белый семейный снимок: молодой улыбчивый Шмуэль, красавица Симочка и три их дочери с длинными черными косами.

Пока желтел сентябрь

Пока желтел сентябрь на улочках еврейского квартала, десятки тысяч минских евреев за колючей проволокой надеялись на лучшее.

Всех же не расстреляют? Может, наши еще вернутся?

Наум об этом задумывался меньше, он больше засматривался на рыженькую Асю, которую раньше никогда не видел. Они жили в разных концах города. А теперь в одном доме — восемь евреев из двух семей.

Потом начались погромы, и надежд на счастливое спасение не осталось: расстреляли многих. Но до их дома каратели не дошли.

— Нужно бежать, — сказал Соломон, дедушка Наума.

— Конечно, бежать! Оставшихся расстреляют. Они ж всех постоянно пересчитывают, — поддержала его жена Злата. — И нас расстреляют.

Все посмотрели на Наума и Асю. А на кого еще смотреть? Они самые молодые — всего по шестнадцать. Им нужно спастись в первую очередь...

— Горожане, на тротуаре выросли. Как они в лесу выживут?

Ася и Наум ничего не слышали. Они уже за домом. Там, где желтеет сентябрь.

Наум десятки раз прокручивал план побега. Нашел ребят, которые его встретят, спрячут, а потом приведут в лес к партизанам. Через два дня ребята будут ждать его в овраге.

Ася думала о своем, о девичьем. Она еще ни с кем не целовалась. Утром натягивала на себя старую одежду, сажей намазывала лицо, горбилась. Но заметила, что полицейские смотрят в ее сторону: их не проведешь. Неделю назад на ее подружку

Хану набросилось трое озверевших солдат. Так надругались, так испоганили ее, нелюди.

— Наум, иди ко мне. Кто знает, что будет завтра? — И Ася потянула его в огород, на теплую мягкую грядку. И показалось, прошла война, нет ни расстрелов, ни гетто, и весь мир — эта теплая сентябрьская грядка и их счастливые глаза.

Уходить решили вместе.

Ася отрезала косы. И чтоб больше походить на парня, надела брюки. Дождавшись нужного часа, они с Наумом неслышно подобрались к колючей проволоке. Первой проползла Ася. И сразу же скрылась в темноте ночи. Через пять минут за ней бросился Наум, но — прогремел выстрел...

Полицейский теребил в кармане золотое колечко, которое ему дал Соломон. Не знал старый Соломон, что заплатить нужно было за двоих...

Аидише нешоме

Айзик загадочно взглянул на детей, потом на внуков и спросил:

— А знаете ли вы, кто у нас аидише нешоме — еврейская душа?

Все, не сговариваясь, повернули головы и посмотрели на бабушку Хану.

— Ты разве не знаешь, что душа женского рода? — старший внук Хаим с укором посмотрел на деда, мол, разве не понятно, кто в их семье идише нешоме?

— А ты, дедушка, будешь аидише нешоме номер два, хорошо? — придвинулся к нему любимец семьи Янкель-кудряшка.

— Нет, нет, — погрозила пальчиком с кухни бабушка Хана. — Аидише нешоме — это вы, внучатки, вы, Хаим и Янкеле.

— Ханэле, сколько ты еще будешь нас дразнить фаршированной рыбой? — внюхиваясь, повел от нетерпения усами Айзик.

Господи, какая это была рыба! Пальчики оближешь. Да еще с песней. Обычно запевала Хана, потом подтягивали остальные.

Спасибо, спасибо, спасибо!
Секрет заключается в том,
Сначала фаршируется рыба
Гостей приглашают потом...

— Хочется растянуть удовольствие. Тем более в шабат.

Над Минском проплыли грозовые облака, а через несколько дней прилетели вражеские самолеты. На восток по Могилёвскому шоссе потянулись беженцы. Но далеко они не ушли. Война догнала их уже через тридцать километров.

— Хальт! — немцы наставили автоматы на толпу стариков, детей и женщин, приказали развернуться и идти обратно в Минск.

В этой неразберихе бабушка Хана, молодая пятидесятилетняя женщина, бросилась с Хаимом и Янкелем в придорожные кусты.

— Назад нельзя! Отсидимся пока здесь. Переждем, посмотрим, что будет.

Когда-то Хана жила в этих краях и хорошо их помнила. Евреи из ближайшего местечка, напуганные войной, но толком не знавшие, что происходит, приютили беженцев.

— Шма Израэль! — молились они. И Хана молилась, как все. Но хорошо понимала, что не все людские молитвы будут услышаны — так их много.

В трех километрах от местечка возвышался католический монастырь, там

служил ее бывший однокашник Иосиф. К нему, одевшись по-деревенски, Хана и отправилась с детьми.

— Евреи не могут находиться в монастыре. Твоих внуков мы обратим в католичество. Дадим другие имена. Что будет дальше, только Богу известно, — объявил Иосиф.

— Главное, чтоб они остались живы. А кем будут — иудеями или католиками — не важно, — размышляла Хана. Она оставила внуков и пошла, куда глаза глядят, лишь бы подальше от войны и людей. И добрела Хана до дома лесника.

— Я не пытаю цябе, хто ты и адкуль? Жыць будеш у старой хаце. Працуй за харч и жылле. Згодна? (*Я не спрашиваю тебя, кто ты и откуда? Жить будешь в старом доме. Работай за еду и жилье. Согласна?*)

Хана была согласна на все: только бы спрятаться от войны! Никогда не косила — научилась косить. Никогда не доила коров — научилась доить. Не рубила дров колуном — научилась.

В июле сорок четвертого старый лесник Язэп повесил на плечо Ханы новые лапти, дал чистую домотканую одежду и вывел ее на шлях.

— Минск вызвали. Иди да хаты. Можа сустрэнеш каго-нибудь са своих. Я адразу здагадаюся, хто ты. (*Минск освободили. Иди домой. Может, найдешь кого из своих? Я сразу догадался, кто ты...*)

В монастыре новый настоятель не обратил внимания на старуху с изможденным, обветренным лицом, с натруженными, узловатыми пальцами, напоминавшими сухие корни старых деревьев. Она долго вглядывалась в лица молящихся и монахов, но не находила среди них тех, кого искала. Тогда она тихо запела:

Спасибо, спасибо, спасибо,
Секрет заключается в том.
Сначала фаршируется рыба,
Гостей приглашают потом.

Никто не откликнулся. Полоумную старуху вывели за ограду монастыря. Но она вернулась и опять запела про фаршированную рыбу, которая совсем не католическое блюдо.

Сначала фаршируется рыба,
Гостей приглашают потом.

И вдруг — на глазах у всех — два молодых монаха с радостными криками бросились к старухе, как родной:

— Аидише нешоме, аидише нешоме, — и упали перед ней на колени.

Портрет из гетто

Роман обвел прощальным взглядом свою квартиру — завтра улетать в Израиль. Квартира уже чужая. Он рассчитывал после продажи оставить себе хоть какую-то копейку на обустройство новой жизни, но не получилось.

До войны за его мамой, известной певицей Белорусского оперного театра, безнадежно ухаживал театральный художник.

— Сколько ж вы еще будете, Любовь Исааковна, мужа с фронта дожидаться? Финская закончилась. Все, кто выжил, давно вернулись, — не просто так любопытствовал художник.

Надеясь покорить сердце возлюбленной, он написал ее портрет маслом на холсте — прекрасный портрет! — и подарил ей.

Когда Минск взяли немцы, певицу, как и всех евреев города, переселили в гетто, а через несколько месяцев отправили в машине, возможно, в душегубке, в лагерь «Тростенец», где сожгли вместе с тысячами других заключенных.

Роман прошел всю войну. И остался жив даже после танковых боев на Курской дуге, и вернулся в Минск без руки. Поселился в разоренной, но чудом уцелевшей квартире, где они жили с мамой. Жены у Романа не было: никто не рискнул выйти замуж за однорукого инвалида, да и Роману не хотелось чувствовать себя обузой. Но очень не хватало мамы, и даже ее фотокарточки не было. И вдруг однажды у кинотеатра «Центральный» Роман встретил театрального художника, когда-то безнадежно влюбленного в Любовь Исааковну. Оказалось, художник сохранил тот самый портрет, о котором Роман частенько вспоминал. Он успел забрать портрет себе, пока соседи еще не вселились в опустевшую квартиру.

— Смотри, как живая! — подначивал и подзадоривал художник, показывая картину, — вот-вот сойдет с полотна.

Мама — красивая, молодая — смотрела на Романа из прошлой счастливой жизни. Черные выразительные глаза с голубоватыми белками, черные вьющиеся волосы, милая улыбка, в которой столько тепла, что легче становилось на сердце.

С того дня жизнь Романа и его мысли стали вращаться — как Земля вокруг солнца — вокруг портрета. Сколько раз он просил художника продать портрет?! Тот не соглашался или назначал немислимую цену. Так ни о чем и не договорились.

Когда старый художник умер, Роман пришел к сыну художника. Его встретил плотный мужчина с жидкой косицей, растрепанной бородой и пьяненькими глазками. Зная, как хочется Роману получить картину, сын заломил цену еще выше — оставалось лишь руками развести и сокрушаться.

Перед отъездом в Израиль Роман продал мебель, электротовары, появились какие-то деньжата. И он решился в последний раз пойти к сыну художника и уговорить наконец продать портрет, потому что это единственное, что он мечтает взять в свою новую жизнь в Израиле.

— Что я хочу за картину? Да пустяк — квартиру! — дохнув перегаром, заявил он. — Всего лишь твою квартиру. Разве память о матери не стоит того?

— За картину — квартиру? — переспросил Роман в недоумении. — Твой отец ни одной работы даже за 500 долларов не продал, а ты требуешь в десятки раз больше?!

— Будь моя воля, давно б выкинул на помойку этот «шедевр». Что в нем? Но я дал слово, обещал отцу, пока ты не откажешься, не отступишься от картины, я буду ее хранить. И как только ты взлетишь и умахнешь в свой Израиль, растопчу, разорву, сожгу ее, к чертям... Или отдай квартиру!

В аэропорту Минска возле стойки стоял однорукий мужчина средних лет. Багаж у него был небольшой: чемодан и завернутая в мешковину картина, которую он прижимал к себе.

Он улыбался. Его мама не сгорела в «Тростенце», — они улетают вместе.